



Салли Гарднер Червивая Луна

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9444664
Червивая Луна / Пер. с англ. Ю. Мачкасова: Livebook; Москва; 2015
ISBN 978-5-904584-90-0

Аннотация

Эта история о мальчике с разноцветными глазами, который живет в мире, где подчинение – высшее из достоинств, глупость – условие выживания, а человек может в любой момент исчезнуть, оставив после себя дыру.

Но если хочешь однажды проснуться свободным – неважно, что ты в меньшинстве, важно отличать правду от лжи. Наперекор всему.

Антиутопия Салли Гарднер «Червивая луна» получила несколько литературных премий, в том числе главную британскую награду – Медаль Карнеги.

Содержание

Один	5
Два	6
Три	7
Четыре	8
Пять	9
Шесть	10
Семь	11
Восемь	12
Девять	13
Десять	15
Одиннадцать	16
Двенадцать	17
Тринадцать	18
Четырнадцать	19
Пятнадцать	20
Шестнадцать	21
Семнадцать	22
Восемнадцать	23
Девятнадцать	24
Двадцать	26
Двадцать один	27
Двадцать два	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Салли Гарднер Червивая Луна

Copyright © Sally Gardner, 2012

Originally published in the English language as MAGGOT MOON by Sally Gardner

Hot Key Books Limited, London

The moral rights of the author have been asserted

© Sally Gardner, 2012

© Юрий Мачкасов, перевод на русский язык, 2014

© Livebook Publishing Ltd, 2015

* * *

Вам, мечтатели.

Тем, кого не замечали в школе.

Кого обошли наградами.

Вам, хозяева будущего.

Один

Интересно, что было бы, если бы.

Если бы мяч не улетел за стену.

Если бы Гектор не пошел его искать.

Если бы он не утаил страшную тайну.

Если бы.

Тогда, наверное, я рассказывал бы сам себе совсем другую историю. Потому что «если бы» – они, как звезды, никогда не кончаются.

Два

Мисс Конноли, наша бывшая учительница, всегда велела начинать историю с начала. Чтобы было как чистое окно, сквозь которое все хорошо видно. Хотя я так думаю, что она не это имела в виду. Никто, включая даже мисс Конноли, не посмеет сказать, что нам видно через заляпанное стекло. Лучше не выглядывать. А уж записывать это на бумагу... я не такой дурак.

Даже если бы я мог, все равно не смог бы.

Потому что я не знаю, как пишется мое имя.

Стандиш Тредвел.

Писать – затык, читать – молчок,

Стандиш Тредвел – дурачок.

Мисс Конноли одна-единственная из учителей говорила, что Стандиш стал для нее особенным, потому что он не такой, как все. Когда я рассказал об этом Гектору, он улыбнулся. И сказал, что лично он это просек в момент.

– Есть такие, которые думают по накатанному, а есть – как ты, Стандиш, – ветерок в саду воображения.

Я это повторил про себя. «А есть Стандиш, у него воображение веет, как ветерок в саду, не замечает даже скамеек, видит только, что собаки не насрали там, где собаки обычно срут».

Три

Я не следил за уроком, когда пришла записка от директора. Потому что мы с Гектором были в городе за морями, в другой стране, где здания растут и растут, и прикалывают облака к небесам. Где солнце как в цветном кино. Мир под радугой. Пусть говорят, что хотят, — я его видел, по телевизору. Там поют на улице. Там поют даже под дождем, поют и танцуют вокруг фонарного столба.

Тут у нас темные времена. Никто не поет.

Но зато мечталось мне в тот день лучше, чем за все время с тех пор, как исчез Гектор с семьей. По большей части я старался о нем не думать. Вместо этого я изо всех сил воображал себя на нашей планете. На той, которую выдумали мы с Гектором. На Фенере. Все разумнее, чем без конца дергаться, что с ним случилось. Так вот, у меня получилось замечаться лучше, чем за все это время. Как будто Гектор снова был рядом. Мы катались в таком огромном кремовом «кадиллаке». Я даже чувствовал запах кожаной обивки. Ярко-синей, синей, как небо, синей, как могут быть только кожаные сиденья. Гектор сзади. У меня одна рука опирается на хромированный край открытого окна, другая на руле. Мы едем домой, а там — «Крока-кола» на чистенькой кухне, за столом с клетчатой скатертью, а трава в саду такая, будто ее только что пропылесосили.

И вот тут-то я понял, что мистер Ганнел произносит мое имя.

— Стандиш Тредвел. Срочно явиться в кабинет директора.

Трепать-колотить! Вот это я прозевал. Трость мистера Ганнела выбила у меня слезы из глаз, резкий удар оставил на моей руке его личную подпись. Две узких красных полосы. Роста мистер Ганнел был небольшого, но мышцы у него были стальные, как у старого танка, и руки будто танковые, хорошо смазанные. Парик на его голове жил своей жизнью, изо всех сил цепляясь за блестящую потную лысину. Да и остальные черты лица тоже его не красили. Усики у него были маленькие и темные, как грязная сопля от носа до рта. Улыбался он только тогда, когда махал тростью; улыбочка эта скручивала уголки его рта, и тогда дохлой пиявкой вылезал язык. На самом деле я не уверен даже, что это можно было назвать улыбкой. Может, его просто так крючило, когда он отдавался любимому занятию — причинению боли. Ему было все равно, куда бить, лишь бы по живому, лишь бы достать.

*Потому что поют только за морями.
Здесь небо давно обвалилось.*

Четыре

Но что меня больше всего задело, так это то, что я, похоже, совсем не присутствовал в классе. Не видел даже, как мистер Ганнел шел ко мне, а ведь между его столом и моей партой целая взлетная полоса. Ну, я сижу сзади, от меня до доски – как до другой страны. Слова прыгают, будто лошади в цирке. Во всяком случае, мне никогда не удавалось их остановить и разобраться, о чем они.

Единственное слово, которое я мог прочесть, – это то большое, красное, выбитое над картиной, изображавшей Луну. Такое слово, что сразу в рожу с размаху.

РОДИНА.

Я ведь дурачок, в разлинованную бумагу помещаться не умею и обитаю на задах класса так давно, что стал уже почти невидимым. Меня можно отличить от стенки, только когда у мистера Ганнела чешутся его танковые руки.

Тогда мир наливается красным.

Пять

Никуда не денешься. Я разленился. Я так привык полагаться, что Гектор предупредит меня в случае надвигающейся опасности. А мечтания заставили забыть, что Гектор исчез. Что я теперь сам по себе.

Мистер Ганнел схватил и резко выкрутил мое ухо, так резко, что у меня опять слезы на глаза навернулись. Но я не заплакал. Я никогда не плачу. Какой смысл? Дед говорит, что если начать плакать, то уже не остановишься – столько есть разных причин для слез.

Думаю, он прав. К чему эта соленая водичка, эти грязные лужицы. Слезы, они заливают с головой, встают комом в горле. От них хочется кричать, от слез. Но по правде, было непросто, с выкрученным-то ухом. Я изо всех сил старался остаться на Фенере, на планете, про которую знали только мы с Гектором. Мы собирались добраться до нее вдвоем, и тогда все поняли бы, что мы не одиноки во Вселенной. Мы вступили бы в контакт с фенерианцами, а они отличают добро от зла и разнесут и Навозников, и кожаные пальто, и мистера Ганнела до самой жопы мира.

Луну мы решили облететь стороной. Зачем туда стремиться, когда Родина и так вот-вот установит свой красно-черный флаг на ее нетронутой серебристой поверхности?

Шесть

Мистер Ганнел меня ненавидел. Думаю, по каким-то личным причинам. У него на все были личные причины. Я бросал вызов его личному разуму. Я бросал вызов его личному чувству порядка и достоинства. Чтобы всем стало ясно, до какой степени я был для него личным вызовом, он еще и стянул с меня галстук. Когда он закрыл за мной дверь в класс, на лице у него играла та самая улыбочка, с высунутым языком.

Удар тростью меня не беспокоил. И то, что моя рука все еще ныла. Меня немного напрягало вывернутое ухо. И директор меня тоже не очень-то волновал. Я пока не догадывался, что влип, да еще как.

Но может быть, первый звонок для меня прозвенел в тот миг, когда этот прыщ стянул с меня галстук. Потому что я не умею его завязывать, и он это знает.

Мой личный рекорд по неразвязыванию галстука – год. Столько мне удалось сохранить на нем узел. Материя уже так истерлась, что петля легко раздвигалась и пропускала мою голову, а потом аккуратно затягивалась, как миленькая, шик-блеск. По крайней мере, так было задумано. Держать ее в таком виде мне удавалось благодаря Гектору. Он ни одному мальчишке не позволял меня задирать. Казалось, дни мучений остались позади. А теперь из-за этой гребаной распушенной удавки мне хотелось сползти по стене на пол, сдаться, дать наконец волю слезам. Что-что, а явиться в кабинет директора без галстука было немыслимо. Уж лучше выброситься в окно. Сказать потом, что галстук развязался в полете. И что из-за сотрясения мозга я забыл, как его завязывать.

Если честно, то, кажется, именно в тот момент я понял, что дело не в галстукке, не в том, что я потерял узел. Я не мог вынести, что я потерял Гектора. Знать бы только, куда его забрали. Знать бы только, что с ним все в порядке, и тогда можно было бы избавиться от камня в животе – камня, который с каждым днем становился все тяжелее.

Семь

Гектор говорил, что галстук обозначает вовсе не это. Что галстук – как ошейник на собаке. Носить его – значит принадлежать к чему-то большему, чем ты сам по себе. Он говорил, что школьная форма – это способ всех уравнивать, сделать каждого просто цифрой, аккуратной такой цифрой в мальчишеском облике, готовой для занесения в журнал. Из Гектора аккуратная цифра не получилась, и похоже, что его просто стерли, хотя уверенным быть нельзя. Я знал, что он прав. Завязанный галстук помогал выжить.

И вот теперь мне некуда было податься: галстук развязан, рубашка застегнута не на те пуговицы, о шнурах вообще нечего говорить. Жуткий вид.

Восемь

В коридоре пахло хлоркой, молоком, мальчишеским туалетом и мастикой. Неоновые лампы светились одиночеством. Слишком яркие; от них ничего не скроешь. От них пустота казалась в десять раз более пустой; от них становилось еще яснее, что Гектора больше нет. Хлопнула стеклянная дверь, и из кабинета вышла с чашкой в руке мисс Филипс, одна из смотрительниц.

– В чем дело, Тредвел?

Голос она сделала грубый и резкий, но я знал, что она тоже стоит в очередях, как все, – чтобы ухватить хоть немного лишнего. Она взглянула вдоль коридора, потом вверх, на камеру, которая крутилась вокруг своей оси, как заведенная. Подождав, пока всевидящее око отвернется, она совершенно молча завязала на мне галстук и перестегнула пуговицы. Проверила еще раз камеру, прижала палец к губам, дождалась, пока объектив снова повернется к нам, и сказала тем же резким голосом:

– Молодец, Тредвел. Именно такого вида я и ожидаю от тебя в школе каждый день.

Никогда бы не подумал, что наша грубая мисс Филипс такая милая и нежная внутри.

Девять

Перед дверью в директорский кабинет можно сесть на длинную деревянную скамью – сиденье твердое, чтобы зад заныл, и поднято чуть-чуть высокоовато. Я так понял, в этом и была великая идея: чтобы сидящий чувствовал себя таким маленьким, таким незначительным, ноги болтаются, голые коленки краснеют. Слышно только, как одноклассники за дверями стараются не дышать. Я сидел и ждал, пока зазвонит звонок, означавший «Мистер Хелман готов тебя принять». Сидел и ждал, а время утекало по капле.

Пока Гектор не пришел в нашу школу, я ее ненавидел. Я был уверен, что ее придумали специально, чтобы хулиганы с засохшим собачьим дерьмом вместо мозгов могли размазывать по стенкам таких, как я. Таких, с разноцветными глазами – один голубой, один карий. С сомнительной честью – быть единственным пятнадцатилетним учеником, не умеющим читать и писать.

Знаю, знаю.

«Стандиш Тредвел – дурачок...»

Сколько раз меня так дразнили тупорылые хулиганы, подначиваемые этим сиятельным засранцем, вожакom пыточной бригады Гансом Филдером. Важности ему было не занимать. Главный староста, любимчик учителей. Он ходил в брюках, и все остальные в его шайке – тоже. Если по чесноку, не так уж много учеников в нашей школе носили длинные штаны. А у кого они были, тот мог считать себя среди избранных. Малявка Эрик Оуэн ходил в шортах, как простой, но пытался их на себе как бы удлинить, исполняя все приказы, которые Ганс Филдер давал этому коротышке. Если бы Малявка был собакой, то терьером.

Главной его обязанностью было следить, какой дорогой я в этот день иду домой, и сообщать Гансу Филдеру и его удалцам. И тогда – раззудись, плечо. Меня подлавливали и били. Каждый гребаный раз. Вы не подумайте, я раздавал не меньше плух, чем получал. Но куда мне было, одному против семерых.

В тот день я в первый раз встретил Гектора. Меня окружили у старого железнодорожного тоннеля за школой. Ганс Филдер был уверен, что тут-то я влетел по полной, что бежать некуда, если мне жизнь дорога: в конце тоннеля висел знак. Необязательно было уметь читать, чтобы понять, о чем он предупреждал. Крест и череп; сунешься, и ты – труп.

И в тот день, у входа в вонючий тоннель, пока Ганс Филдер и его шайка отморозков издевались надо мной, кидали в меня камни, я довольно скоро пришел к выводу, что безопаснее было бы бежать за знак, в густую траву. Чем черт не шутит? Никакой колючей проволоки там не было, никакой ограды. Один этот знак останавливал надежнее, чем все пугала на свете.

И я побежал изо всех сил, в тоннель, за знак, за которым – как я был уверен – находился военный полигон. Хотя бы не придется долго мучиться. Мама и папа больше не было, а дед... Ну, про деда я не позволял себе думать, по крайней мере, в тот момент. Потому что дед был тогда единственным, кто еще держал меня на плаву. Я оглянулся через плечо, ожидая увидеть, как за мной мчатся Ганс Филдер и его чудозвоны. Вместо этого я увидел только разбредаящиеся фигуры вдали.

Под огромным дубом я остановился. Я еле дышал, меня шатало. Только когда я привел немного дыхание в порядок, до меня дошло, что я сделал. Я выждал еще немного. Если появятся Навозники, я подниму руки и сдамся.

Я сел на землю. Сердце у меня колотилось, как яйцо в кастрюле с кипящей водой. И тут я его увидел. Красный мяч. Сдутый, но не рванный. Я запихнул его в портфель; он – моя награда за смелость. К тому же, отойдя еще чуть дальше по заброшенным рельсам, я

обнаружил кусты малины, ломящиеся от спелых ягод. Я снял рубашку, связал рукава и набил ее малиной до отказа. Каждую секунду я ожидал, что мне на плечо ляжет рука Навозника.

Я стоял уже почти под стеной, проходившей вдоль рельсов. Для нее у меня было хорошее слово – *неприступная*. Писать я, положим, не умею, но словарный запас у меня огромный. Я собираю слова; в россыпи звуков они – как леденцы.

Наш с дедом огород примыкал к стене с той стороны, но она была такой высокой, что мы через нее ни фиги не видели. Невозможно было догадаться, что за ней на самом деле дикий луг, усыпанный цветами. Бабочки выплясывали над ними, как будто природа устроила званый бал и зажала все пригласительные билеты. Я никогда раньше ничего подобного не видел, и у меня аж глаза в кучку собрались от такой красоты. Вот что я подумал: «Если завтра человечество провалится сквозь землю, по крайней мере ясно, кто будет по этому поводу праздновать».

Ну, Стандиш, что встал? Малина, мяч – тогда уж и цветы, нет?

Дебил. Тут только в мою затуманенную голову пришло, что у меня нет ни малейшего представления, как перебраться обратно через стену. Я не просто влип, я сидел в говне уже по пояс, и скоро засосет с ручками. Потому что перелезть через стену я не мог. Дело не в высоте; дело в битом стекле на верхушке, раз – и прощай, артерия. Если обе твои руки к тебе еще приделаны – значит, ты точно не лазил на эту стену.

Трепать-колотить. Одно из двух: или придется возвращаться тем же путем, что исключено, или...

Давай, Стандиш, расскажи про «или».

Десять

Кирпичная стена кончается там, где кончается наша улица, у огромного бессмысленного дворца на верхушке холма. Когда я был маленький, я точно знал, что дворец построили из великанского конструктора, настолько он был несоразмерный со всем остальным. А дед сказал, что это место – проклятое.

Что я вам сейчас рассказываю, было в самом деле. Какому-то умнику пришло в голову увековечить то ли какую-то царицу, то ли какую-то битву – неизвестно, что именно, обе уже одинаково забыты. Дед, изучивший местную историю, утверждает, что много зим назад на вершине холма был глубокий колодец, вода в котором славилась волшебными целительными свойствами, а охраняли колодец три ведьмы. Они постановили беречь это место, а кто побеспокоит его, тот навлечет на всю округу проклятие. Потом, конечно, мудрых ведьм отволокли в кутузку.

А через много лет этот старый хрыч, распухший от денег, пришел, засыпал колодец и поставил свое уродство в честь царицы или битвы.

Первый Дворец народа сгорел дотла в день открытия. Тогда, будто действие пророчества ведьм не было уже всем очевидно как на ладони, богатый хрыч отстроил страхолудину заново. Типа показал фигу суевериям. Но дед говорил, что ведьмы – они играют с дальним заходом. Мерзкий старый дворец все еще блестел за лугом, как стеклянный глаз.

Почему я все это вспоминал, стоя по другую сторону стены, не выпуская из рук цветов, рубашки с малиной и сдутого мяча? Потому что за это время я успел успокоиться, подумать и представить в своей голове путь на свободу.

Папа – до того, как они с мамой исчезли, – говорил как-то с дедом про вырытый ими лаз, который вел от бомбоубежища в парк. Когда они заметили, что я тоже нахожусь в комнате, то перешли на прежний, чтобы я не понял.

Но я вот что обнаружил про языки: когда не умеешь ни читать, ни писать, то слова начинают раскрываться на слух. Из них можно выжать сущность, как из музыки. Надо только выкинуть все из головы, настроиться на поток речи, и тогда попадаешь в смысл на сто десять процентов.

Если по чесноку, то я чуть не завизжал от радости, когда набрел наконец на люк, открывающий тот лаз. Его было почти не разглядеть под выросшим зеленым ковром. Он так давно скрывался от глаз, что пришлось потрудиться, отнимая у природы то, что, по ее мнению, уже ей принадлежало.

Когда я сгрузил добычу на кухонном столе, я себя чувствовал Санта-Клаусом.

Дед несказанно удивился.

– Знаешь, у меня сейчас ровно два желания. Во-первых, хотел бы я знать, как делают малиновое варенье, а во-вторых, кто бы мне сказал, как мы теперь будем отбеливать эту чертову рубашку, твою единственную, между прочим.

Было время, когда я бы сказал, что кто-то слышал его молитвы. Теперь-то я знаю, что все гораздо более случайно. Семья Гектора только что поселилась в соседнем доме. Дед заявил, что они – стукачи, а коли так, то наверняка знают, как вывести с рубашки пятна от малины. И вот с этого-то все и началось.

Одиннадцать

С дедом мне всегда было спокойно. Пусть стены у нас в доме непрочные, зато непрозрачные – об этом дед позаботился. Дед у меня – хитрый старый лис. Он никогда не прогибался и любил говорить мне, что не скопил ничего, кроме собственного достоинства, а его-то не отдаст никому. Никакой вере, никакой церкви, никакому учению. Взгляд его серых глаз не упускал ничего. Видел много, говорил мало.

Когда у нас завелись соседи, он сказал, что не собирается к ним с чашкой сахара.

– Сахара? – спросил я. – С какой стати? Он же на вес золота.

Дед засмеялся.

– До войны, когда вдоль улиц стояли аккуратные, не взорванные еще дома, было принято ладить с соседями. Если у кого-то в чем-то нужда, нужно дать.

Это мне показалось разумным, но ни в одном заброшенном доме на всей нашей улице не было никого, кому можно было бы что-то дать. Дед сказал, что Лаши – стукачи. Я понял: это просто он так пытался сказать, что ему не хочется, чтобы там жил кто-то другой. Тот дом был домом моих родителей, пока они не перестали существовать. Новые жильцы делали их исчезновение еще более окончательным. Подчеркивали его, обводили жирной чертой знак вопроса, так, что от него никуда было не деться. К тому времени с исчезновения мамы с папой прошло чуть больше года. Люди часто пропадали без вести: друзья, соседи стерты, как и мои родители, имена забыты официально – никаких следов их существования.

Тогда мне пришло в голову, что в мире полно ям, таких дырок, в которые можно упасть, и больше тебя никто никогда не увидит. Я не видел, какая разница между смертью и исчезновением. И от того и от другого оставались одинаковые дыры. Дыры в сердце. Дыры в жизни. Было сразу заметно, когда они появлялись. Сначала в доме гас свет, а потом его или рушили, или взрывали.

Дед всегда подозревал, что главные стукачи в нашем районе жили в домах с алыми грудками, на пригорке в другом конце улицы, напротив дворца. В крепких, нетронутых домах, выделенных исключительно для членов движения «Матери за чистоту», как миссис Филдер и ее старухи. Они беспорочно работали на Навозников и кожаных, доносили на соседей, получая в обмен молоко для детей, одежду, всякие такие мелочи, за которыми простые полуголодные несознательные граждане вроде нас каждый день стояли в очередях.

Я спросил у деда, почему стукачи обязательно знают, как отбелить заляпанную малиной рубашку.

– Они оба – не обязательно, а вот женщина – скорее всего, – ответил он.

Я не понял, в чем тут логика, но дед вообще был какой-то раздражительный с тех пор, как эта семья поселилась у нас по соседству. Причем раздражительный по мелочам, а этого с ним почти никогда не случалось.

– У нас появились осложнения, – сказал он.

Я еще не знал, что старый лис держит хвост трубой. Он это хорошо скрывал.

Двенадцать

Это я придумал отнести соседям в подарок цветы и блюдо малины. Идея была в том, что это поможет решению вопроса с рубашкой. Но не успели мы прийти к соглашению, как прозвучал гудок на комендантский час. Мы услышали, как патрульный броневик Навозников делает первый круг за этот вечер, так что на улицу стало лучше не соваться. Единственным способом нанести визит в один из окрестных домов и остаться незамеченным было идти по Подвальной улице. На самом деле эта улица всего лишь череда проломов в стенах между соседними подвалами. Для доставки припасов. Так удобнее всего незаметно таскать из заброшенных зданий доски на дрова.

Мне там никогда не нравилось. Жутковатое место. Темно, пахнет сыростью. Можно наткнуться на много всего разного.

Мы поднялись по ступенькам к двери из подвала в дом, где когда-то жили мои родители. Мне не обязательно было открывать дверь, чтобы рассказать, что за ней. Обои с красными цветами и корзинами, ломящимися от фруктов, а низ стен на кухне обшит досками, тоже выкрашенными в красный: все потому, что как-то с грузовика упала банка с краской именно этого цвета. Лампу дед вынес из полицейского участка после того, как туда попала бомба. И это, и многое другое я знал о доме, в котором родился.

Тем не менее мы вежливо постучались.

Тринадцать

Оглушительная тишина. Потом дверь немного приоткрылась.

– Да. Что вам надо? – спросил мужской голос.

Он хорошо говорил на родном, акцент был еле заметным, но все равно понятно было, что его губы привыкли к другому. По голосу становилось ясно, что перед нами – полный гражданин Родины, без дураков. По чесноку, их не часто в седьмом секторе и увидишь – не военных, в смысле. Я был поражен. До меня дошло, что дед, может, и прав, говоря о стукачах.

Мужчина оказался тощим, как швабра, с густой копной седых волос. Кустистые седые брови отчаянно сдерживали наступление обширного лба, готового обрушить на лицо лавину озабоченных морщин.

– У нас нет ни еды, ни ценностей, – продолжал он дрогнувшим голосом. – Нам нечего вам отдать. Нечего.

Я думал, дед озлится, когда поймет, что этот – с Родины. Но он заговорил очень спокойно:

– Я ваш сосед, меня зовут Гарри Тредвел. А это мой внук Стандиш Тредвел.

И протянул руку.

Мужчина медленно открыл дверь.

За столом сидела худая красивая женщина – в точности, как сидела когда-то моя мать, а напротив нее, на моем месте, сидел мальчик моего возраста. Тоже красивый: прямая спина, русые волосы, зеленые глаза.

– Просто пришел навестить, посмотреть, как вы устроиваетесь на новом месте, – сказал дед.

Я протянул женщине цветы и блюдечко с малиной. Она взяла букет и зарылась в него лицом. Когда она снова ко мне повернулась, на носу у нее была золотая пыльца, а на щеках – слезы. Дрожащей рукой она коснулась блюда с ягодами.

Все это время я ощущал на себе взгляд мальчика, и мне хотелось уставиться на него в ответ, но я сдерживался, по крайней мере, поначалу. Я чувствовал, как мои щеки краснеют, меня одолела неловкость, я не знал, как оценить ситуацию. Наконец я повернулся к нему с вызовом, ожидая, что сейчас и он, как и мои одноклассники, увидит мою странность, мое нечистое пятно.

Какие у тебя странные глазки.

Какие у тебя странные слова.

Но лицо его было совершенно серьезным. Он встал. Он был выше меня. И, в отличие от мужчины и женщины, он никак не выказывал беспокойства. Он уверенно подошел ко мне.

– Спасибо, – сказал он. – Меня зовут Гектор Лаш, а это – мои родители.

И я узнал его.

Но я также знал, что это невозможно. Я никогда прежде его не видел.

Дед так и не сдвинулся с верхней ступеньки. Он продолжал стоять и смотреть, усваивать увиденное. Потом внезапно развернулся и ушел обратно. А когда дошел до нижней ступеньки, то позвал и меня за собой.

Четырнадцать

Мы быстро забрали из нашего дома все необходимое, то есть папин револьвер. Роскошь его заключалась в наличии глушителя, свинченного с пистолета мертвого Навозника. Мы снова вернулись в комнату, которая была когда-то нашей кухней. На этот раз дед не постучался. Мистер Лаш увидел пистолет и бросился прикрыть жену.

Гектор только улыбнулся.

– Вы нас собираетесь убить? – спокойно спросил он.

Дед не привык к вежливости, и вся эта возня с манерами его не особо занимала. Он молча прицелился и снял первую крысу, бежавшую вдоль плинтуса, потом вторую, третью... Остановился он только тогда, когда пристрелил семерых поганцев.

Вот на цифры дед внимание обращал. С семьей мертвыми крысами крысиному королю придется считаться. Убьешь одну крысу, и вся ее родня придет за тобой; убьешь семь, и им станет ясно, что ты тут не шутики шутишь.

Пятнадцать

Мы провели Лашей по Подвальной к нам домой. Дедова чистенькая кухня их поразила. У него была разработана целая система выживания. Ничего не пропадало, все собиралось и раскладывалось по полкам с библиотечной тщательностью. Я помог ему накрыть стол. Вся посуда – треснутая, побитая, склеенная, снова треснутая, побитая и снова склеенная, пока каждый прибор не приобретал собственную индивидуальность.

– Стандиш, – сказал дед, – терновую наливку.

Как только он это сказал, я понял, что Лашам он доверяет. Но прямо дед этого говорить не собирался.

Мы расселись за столом. И я, и дед вскорости прикончили суп – и вытирали домашним хлебом тарелки. Когда мы подняли глаза, оказалось, что Лаши еще и не начинали.

– Окрошка, – сказал дед. – А хлеб я испек сегодня утром. Ешьте.

– То есть вы хотите поделиться с нами? – спросила миссис Лаш. На ее прозрачном лице глаза, как рыбы, плавали в озерах слез.

– Да, – ответил дед. – И помочь вам сбежать.

– В каком смысле?

– Сбежать от голодной смерти. Вы оказались в седьмом секторе не просто так. Почему – не мое дело. Но если мы друг на друга обозлимся, и вы умрете, то выйдет, что они победили. А если будем держаться вместе, то выстоим.

– Не все на Родине одобряют все, что делается ее именем, – сказал мистер Лаш.

– Разумеется, – отозвался дед.

– Мы думали, вы станете нас подозревать. Что мы доносчики.

– Ешьте, – повторил дед и поднял стакан. – И выпьем. За новую жизнь и за покорение Луны.

Шестнадцать

Той ночью Лаши остались у нас. И впервые с тех пор, как ушли родители, я ночевал в своей прежней комнате. Гектор спал рядом, на матрасе, брошенном на пол.

Я уже засыпал, когда мне пришло в голову, что мы так и не разобрались с заляпанной рубашкой.

Ни разу с тех пор, как ушли родители, мне не удавалось проспать всю ночь. Дед уже отчаялся. Нормально спать я стал только с приходом Гектора. Мистер Лаш с дедом на следующую ночь договорились пробить проход между нашими с Гектором спальнями, чтобы нам быть вместе. Остальные проходы между домами никто уже и не обсуждал, все как-то само выходило. Я, дед, Гектор и его родители сначала стали вместе садиться за стол, а потом постепенно вместе жить. У нас получилась хорошая семья.

Мистер Лаш рассказал, что он был инженером. Он отказался работать на Родине над каким-то проектом, но не уточнил, над каким. Миссис Лаш работала врачом и отказалась уничтожать нечистых. В результате они оказались сосланными в седьмой сектор, так что тут и мне, и деду, и нечистым повезло.

Семнадцать

Как только прозвонил звонок, я сорвался со скамьи. Пригладил волосы, вдохнул глубоко, постучался и вошел. Мистер Хелман встретил меня стоя. Он щелкнул каблуками, хотя его каблуков я не видел – они были скрыты под столом.

Потом он выбросил вперед руку, прямую, как шест, и глаза его остекленели.

– Слава Родине, – сказал он.

Я нехотя начал поднимать руку, но так и не закончил, и тут услышал, как кто-то кашлянул. Не мистер Хелман. Кашлянул кто-то в углу комнаты. Кто-то в черном кожаном пальто. Его как будто построили линейкой и транспортиром – треугольники, прямые линии. На лицо надвинута шляпа. Но не под веселым таким углом, как обычно у крока-кольцев. Эта шляпа сидела как влитая, а ее полями любое вранье можно было рассечь надвое. Кроме того, на нем были темные, заливающие глазницы очки в черной оправе. В кабинете было сумрачно. Мне даже стало интересно, что он в этих очках видит. Короче, он выделялся, торчал, как заноза на ветру. Он здесь был по делу, неясно только, по какому. Или чьему.

«Что же ему тут нужно?» – думал я. Может, он проверяет работу мистера Хелмана? Хотя вряд ли. Единственное, чем был известен мистер Хелман, – это блестящими, дешевыми наручными часами. Такие выдавали семьям, в которых восемь детей. Дело в том, что в седьмом секторе часы бывают только у важных особ. Все остальные их уже давно продали на черном рынке. Откуда я знал, что часы у мистера Хелмана были дешевые? А я и не знал, пока не увидел часы мистера Лаша. Те часы нас спасли.

Прошлой зимой был такой холод, какого я и не припомню. Дед говорил, что и он не помнит такой суровой зимы, а он-то их повидал на своем веку. Он назвал ее «Мечь генерала Мороза». Этот генерал был уж точно не за нас.

И если бы не часы мистера Лаша, мы бы все отдали концы. Из освещения у нас оставалась одна церковная свечка, а из еды – только картофельные очистки. И вот однажды утром, когда замерзло все, включая наше болото, мы сидели за столом на кухне. Дед пытался придумать, что еще можно пустить на дрова, чтобы разжечь печку. И вдруг мистер Лаш встал и вышел из комнаты. Потом мы услышали, как он на верхнем этаже, у нас над головой, поднимает половицы. «Если мы их начнем жечь, дом рухнет», – подумал я. Миссис Лаш молчала, только непрерывно заламывала руки. Мистер Лаш спустился на кухню и протянул деду что-то, завернутое в полотенце.

– Гарри, ты знаешь, что делать, – негромко сказал он.

Дед осторожно развернул сверток. Ох, трепать. Эти часы сияли, как солнце. Они были из чистого золота, тяжелые, как совесть.

Дед перевернул их и прочел гравировку на задней крышке. Он долго на нее смотрел и молчал. У мистера Лаша кровинки в лице не было. А миссис Лаш, кажется, и вовсе перестала дышать.

Прошла вечность. Наконец дед сказал:

– Если сточить слова, то мы сможем сбежать.

Мистер и миссис Лаш оба вздохнули и кивнули головами.

– Спасибо, Гарри, – сказал мистер Лаш.

Я потом спросил у деда, что было написано на часах. Но он мне не сказал.

Из купленных тогда на черном рынке припасов у нас до сих пор оставалось немного муки, риса, овсянки, лампового масла и мыла. Так что я знал, что часы мистера Хелмана – дешевка. За них ему не дадут и свечки, поставить на его могилу.

Восемнадцать

Мистер Хелман принялся шевелить пальцами. На кистях рук у него росли волосы, черные, как паучьи лапы.

Но это было просто так, чтобы отвлечь внимание, как и сами часы. Дело в том, что уж очень тут все не сходилось. Начать с того, что из директора исчезли буря и натиск. Он был похож на сдутый дирижабль – весь газ ушел куда-то.

Кожаный пришел за мной, намекал мне камень в животе, и я попытался как можно скорее сообразить, что же я наделал. По списку.

Починенный телевизор?

Две курицы в углу огорода?

Гектор?

– Стандиш Тредвел? – спросил кожаный.

Я кивнул. Но вот что я скажу: я уже распрямился и стоял ровно.

– Знаешь, какой день сегодня?

Конечно, знаю – четверг, и на ужин у нас будут мясные консервы и два припасенных яйца. Но я понимал, какого ответа он от меня ждет. Нужно быть совсем тупым, чтобы не знать, какой сегодня день.

И я промолчал.

Девятнадцать

– Стандиш Тредвел.

Зачем было повторять мое имя? И что в папке, которую он держал?

– Возраст?

– Пятнадцать, сэр.

– Пятнадцать.

Не нравились мне эти повторения. Я посмотрел на директора, но тот, похоже, от участия в разговоре устранился.

– Пятнадцать, – снова сказал кожаный. – Пишешь на уровне четырехлетнего, читаешь на уровне пятилетнего. Тебе известно, что случается с нечистыми детьми?

– Так точно.

Их отсылают в другую школу, далеко отсюда. Как Майка Джонса, кривоногого. Он больше не вернулся. Дед говорил, что вдовая миссис Джонс, его мать, считай, совсем рехнулась через это. Я продолжал молчать.

– Стандиш.

Он что, сломался, этот кожаный, – все повторял и повторял мое имя?

– Странное имя.

Блин. Мне сразу захотелось, чтобы меня на самом деле звали Джон. Или Ральф, Питер, Ганс – как угодно, лишь бы не Стандиш.

– И к тому же Тредвел?

– Это из прежней страны, сэр.

А я что? Меня так учили отвечать.

– Родители умерли?

Ну, на самом деле не совсем так, но я решил не спорить.

Он вытащил из папки какое-то письмо, обернулся к мистеру Хелману и заговорил с ним на прежнем.

В грубом переводе все сводилось к тому, что приличная пригородная школа, пусть и находящаяся в безнадежной помойке, посреди развороченного седьмого сектора, не имела права меня принимать. Каким образом за все это время никто не обратил на меня внимания? На такого тупого, ни на что не годного. Хотя я прекрасно понимал все, что они говорили.

– У него были определенные успехи в классе мисс... в классе предыдущей учительницы... – начал мистер Хелман. Его даже бросило в жар. – Его отец был здесь раньше директором. И мать преподавала в этой же школе. Когда миссис Тредвел...

Я ждал, что будет дальше. Очень внимательно ждал. Скажет он или не скажет, что случилось с отцом и матерью? Ну? Нет, потому что ясно было, что даже мистер Хелман чувствовал нависшую опасность, а часы его, в конце концов, были всего лишь дешевкой из блестящего металла. Вовсе не из моркови, как часы мистера Лаша. Я раньше не знал, что золото – на вес моркови. Теперь знаю. Те, кто добывал золото из земли, наверняка тоже подозревали об этом. Что мы будем обменивать его на еду.

Кожаный снова обратился ко мне.

– Сегодня особенный день. Чем?

На этот раз он говорил медленней, видимо, чтобы до меня получше дошло. Я же тупой, а с тупыми надо разговаривать именно так.

Я знал, чем сегодня был особенный день. Трепать-колотить, да на оккупированной территории и крысы не нашлось бы, чтобы она не знала, чем этот день особенный.

Нет, не мясными консервами.

И я ответил, гордо, будто сидел за рулем кремового «кадиллака»:

– Сегодня четверг, девятнадцатое июля тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, день запуска ракеты на Луну и начало новой эры в истории Родины.

Думаю, мне удалось это сказать вполне на уровне, потому что руки директора и кожного взлетели вверх. Если бы очки кожного не делали его лицо похожим на череп, можно было бы сказать, что у него глаза затуманились.

– Именно. Это достижение нашей державы установит ее первенство во всем мире и докажет таким образом наше полное превосходство.

Как только он сказал это, прозвенел звонок на обед.

– Бывал ли ты когда-нибудь в парке у себя за домом?

Я быстро пробежал по списку возможных ответов. Ложь, ложь и еще ложь. И я так еще и не понял, за что меня вызвали.

– Никак нет. Это запрещено.

Двадцать

Но у кожного в глазах был рентген. Точно говорю, хотя его глаз и не было видно. Он смотрел насквозь. Чувство было, как у рыбы, когда она понимает, что из моря вытащили пробку.

Ну, я еще пошевелил жабрами, потрепыхался, а потом сказал:

– Один раз. Может, два.

Кожаный посмотрел на листок бумаги в руках и задал очень странный вопрос:

– Что значит слово «вечный»?

Иногда мне кажется, что взрослые – тронутые. Чокнутые. Съехавшие с катушек.

– Оно значит – тот, который навсегда, как наша великая Родина.

Это я добавил сверху, как варенье на хлеб. Я сам в это не верил, но какая, трепать-коло-
тить, разница? Я верил, что надо выжить, и что когда-нибудь я переселюсь в страну крока-
кольцев. А этим двоим про это знать необязательно.

– А кого-нибудь еще ты в парке видел?

Поздно. Я был уже у него в когтях. До меня дошло, что исчезновение Гектора тут было
ни при чем и что я не умел читать и писать – тоже. И что мой отец был директором, и даже
куры у нас в огороде – нет, тут дело было гораздо серьезнее.

Дело было в лунном человеке.

Двадцать один

Всего лишь три недели назад – три недели! как сотня лет – мы с Гектором обдумывали экспедицию на Фенеру. Пусть эти чудозвоны радуются высадке на Луну, мы-то знали, что по сравнению с нашими достижениями прогулки по Луне – дешевый цирковой номер.

Деда лунная экспедиция не трогала вообще никак. «Деньги на ветер, – говорил он, – а здесь, на Земле, люди голодают». Он был из другого поколения. Он пережил войну, а после нее не только все не исправилось, а кое-что стало даже хуже. Полетит человек в космос, не полетит – с точки зрения деда, ни малейшей разницы. Но мы-то с Гектором знали. Мы же видели будущее своими глазами. Мы не собирались, собственно, но мистер Лаш ухитрился наладить телевизор – и не только наладить, а даже принимать иногда крока-кольские передачи. У мистера Лаши руки росли, откуда надо.

И была у нас с Гектором самая любимая передача. Про одну женщину, такую всю идеальную. Она прямо сияла, стоя на кухне рядом с огромным холодильником. У телевизионной женщины были яркие губы и сиськи в форме конуса. Она все время смеялась. Я тогда подумал, что фенерианцы будут именно такие. Когда мы попадем на эту планету, вся Солнечная система станет нам уютным домом, где не будет ни голода, ни клопов. Да в одном этом холодильнике еды, наверное, на год, если не больше.

Гектору эта актриса нравилась больше всех. Картинка была черно-белая, но нас на мякине не проведешь – мы знали, что земля обетованная вся в цвете. И она придет сюда, как только наша ракета достигнет Фенеры, как только мы оставим первый след там, где никогда не было никаких следов. Я хочу сказать, что в этот самый момент тут все изменится. Войне настанет конец. В *анале* истории это будет событие таких невероятных размеров, что оно само по себе разделит ее на «до» и «после». Типа: «Ты родился до или после открытия Фенеры?» Оно затмит все остальное, затмит высадку на Луну.

По крайней мере, так мне казалось три недели назад.

Двадцать два

Гектора отправили в мою школу, в тот же класс. Я был офигенно рад. Не прошло и недели, как Гектор усмирил Ганса Филдера и его удальцов.

Тогда учительницей у нас была мисс Конноли. Она была добрая. Она посадила меня вперед, близко к своему столу, и всегда объясняла, если что-то непонятно. Мисс Конноли не любила Ганса Филдера и его шайку чудозвонов не меньше моего. Зато Гектор ей сразу очень понравился. Он оказался ослепительно умным, на родном говорил почти без акцента и умел играть на пианино – играть, а не бренчать «Собачий вальс» на черных клавишах. У него были очень красивые руки – узкие, с длинными тонкими пальцами. И вообще, он был худой, а голова – прекрасной формы, не то что эти затылки, плоские, как камбала. Волосы русые, густые, все время лохматились. Мне нравилось, как он их откидывал со лба.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.